



Танчо Урана.

Несказки

О ЛЮДЯХ,
СЛУЧИВШИХСЯ НА МОЕМ ПУТИ

Таньчо Иванса
HeСказки о людях,
случившихся на
моем пути (сборник)

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4997192

HeСказки о людях, случившихся на моем пути: Издать Книгу; М.; 2013

Аннотация

Двадцать шесть HeСказок: грустных и веселых, задумчивых и легкомысленных, чудесных и простых – разных. О людях, встреченных мельком в киевских кафе или парках и о тех, кто был в них придуман; о незнакомых и несуществующих городах; о любви и смерти; о сбывшихся мечтах и о бесконечной возможности чудес под названием «жизнь».

Содержание

Предисловие	4
Жила-была бабушка	6
Вечерняя задумчивость	20
Я есть, я был, я буду...	22
Босиком по звездам	29
Sechs. Sieben. Dreizehn. Achtzehn. Zwanzig sieben	34
И будет дождь, и будет радуга	41
Иногда мы остаемся	67
Где-нибудь, когда-нибудь	73
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Таньчо Иванса

НеСказки о людях, случившихся на моем пути

Предисловие

Я очень люблю гулять по древним камушкам Киева. Это один из самых старых городов бывшей некогда Киевской Руси. Мне нравится ловить обрывки разговоров, домысливать и дорисовывать реальность; наблюдать за людьми, читать по их лицам, ботинкам и поступкам.

Каждый человек – событие. Событие – повторяю! – а не слуга, причина или клиент. Со-бытие – это то, что случается и оставляет в нас едва ощутимый, но очень четкий след, который существенно меняет все и в то же время не меняет ничего в той картине мира, которую я привыкла каждодневно наблюдать вне себя.

Наблюдая, я увлекаюсь и сама не замечаю, как рождается новая история. Приходится хватать то, что под рукой: бумажные салфетки, красные кленовые листья, рекламные буклеты, которыми играет ветер – и тут же записывать новорожденную быль. Просто для того, чтобы она не превратилась в скисшую от времени и невнимания действительность.

А потом, из обрывков мыслей и впечатлений, как бабочка из кокона, выныривает сказка. Скажу вам по секрету, у каждого из нас – она своя. Бывает так – прочтешь сказку, и все переворачивается с ног на голову, а бывает – пробежишь глазами пару строчек и все вдруг становится на свои места и оказывается простым и понятным. Вот ради этих моментов и записываются истории. Чтобы не иссякали книги, которые выбирают нас.

Жила-была бабушка

Все называли ее бабушка Лу. Она была сухощава; глаза отливали зеленью свежескошенной травы; светлые, не седые, а жемчужно-белые волосы аккуратно струились по плечам и неизменно, даже зимой, были украшены желтой озерной лилией.

Где она брала эти цветы в центре города? а зимой?.. До ближайшего пруда от нашего дома хороших шесть-семь километров. Слава богу, умные люди городской транспорт придумали, а то даже не знаю, как бы бабушка Лу выкручивалась.

Сколько себя помню, она сидела возле нашего парадного на лавочке под высоченной елкой, приняв классическую позу английской королевы; смотрела вдаль; отвечала, только если ее окликали. В иные минуты создавалось впечатление, что она вообще никого и ничего не замечает.

Детьми мы часто сами начинали разговор. Мы все спорили: некоторым из нашей компании казалось, что бабушка Лу заколдованная принцесса, так и не дождавшаяся принца; другим, что она – волшебница, которая вот уже несколько столетий сидит без дела, ждет, но люди перестали верить в чудеса, поэтому занятий у волшебницы не осталось; были и такие в нашей шумной гоп-компании, кто свято верил, что бабушка Лу вообще не бабушка вовсе, а ожившая фарфо-

ровая статуэтка. Их версии правдоподобности добавляло то, что одевалась бабушка Лу всегда в какие-то невероятные костюмы. Краем уха мы слышали от взрослых, что лет десять назад, она работала костюмершей в театре и все, что списывалось за негодностью, бабушка Лу якобы забирала домой, восстанавливала, а потом носила – зарплаты-то у костюмерш невысокие. Но мы не верили взрослым. Ведь и грудному младенцу понятно, что у взрослых своя правда. И к тому же еще неправдивая какая-то. Так что версия о «фарфоровой статуэтке» долгое время и мне нравилась больше всего.

Я была очень дружна с бабушкой Лу, или вернее – она со мной.

Каждое лето, когда все нормальные дети уезжали в еще более теплые края, а я, благодаря вечно занятым родителям болталась по двору в одиночестве, бабушка Лу показывала мне город. Да не просто показывала. А рассказывала такоооо... такооооо... Меня прямо-таки распирало желание рассказать обо всем своим друзьям, но я откуда-то знала, что этого нельзя делать ни в коем случае. Я знала, что если я все-таки когда-нибудь решусь нарушить обет молчания, то больше никогда не смогу гулять с бабушкой Лу по городу и слушать ее истории. Поэтому наши прогулки были и остались моей САМОЙ СТРАШНОЙ ТАЙНОЙ.

Однажды, резко остановившись посреди дороги, наклонившись к самому моему уху, бабушка Лу призналась: её – старшую дочь старшего водяного – изгнали из озера с позо-

ром и запретили раз и навсегда возвращаться назад, да не только в озеро, а вообще в какую-бы то ни было воду. По ее словам в юности она нежно любила нецензурные частушки, гимн Советского Союза, Варшавянку, пионерские песни и прочие шедевры коммунистического искусства и распевала их на своем русалочьем языке день и ночь, чем вызвала гнев не только отца, но и других водяных. Впрочем, ее подружки – русалки поддерживали Лу, хоть и тайно. Такое время было. Даже русалок проняло.

Бабушка Лу рассказала мне и то, что ветер левого берега приходится внучатым племянником ветру правого берега и не меньше трех раз в год старший правобережный ветер берет своего младшего коллегу и отправляется путешествовать по Европе. День-другой без ветров городу только на руку: такие уж ветра – непоседливые соседи.

Бабушка Лу показала мне подъезд, в котором живет призрак черного кота. Того самого, который вдохновил Михаила Афанасьевича. И звали его так же – Бегемот. По ее словам привидение Бегемота не пугает жильцов, напротив – бережет подъезд от непрошенных гостей и ловит духи умерших не своей смертью крыс и мышей. Очень полезный призрак, одним словом.

Однажды бабушка Лу, сделав неопределенный жест рукой, приблизительно в сторону Владимирской горки, сказала задумчиво:

– А ведь погода-то нелетная...

– В каком смысле? – переспросила я, совершенно сбитая с толку.

– В том смысле, что всякие уважающие себя драконы должны сидеть в норе и не высовываться.

– Какие драконы? – спросила я.

– Прозрачные, конечно же, – пожала плечами бабушка Лу так, будто речь шла о чем-то обыденном. – В этой части света обитают только прозрачные драконы, всех обыкновенных – зеленых – уже давно уничтожили или сделали божествами, что в сущности одно и то же.

– А почему погода нелетная? – помню, спросила я.

– Да потому что день солнечный. На солнце их чешуя блестит, погляди!

Я задрала голову вверх и увидела солнечные блики на ясно голубом небе, действительно образующее нечто вроде точечного рисунка длинной змеи. Помню, что хотела что-то сказать, но бабушка Лу уже переключилась на что-то другое.

А в доме номер 38/2 на Валу, по ее словам, жил гном, который составил и продолжает составлять картотеку вымышленных существ. На одного реально живущего в данный момент человека, – рассказывала бабушка Лу, – приходится 132 с половиной вымышленных персонажей.

– Почему с половиной? – спросила я.

– Вторая половина всегда принадлежит кому-нибудь настоящему, – сорвав тюльпан и отдав его мне, ответила она.

Она рассказала мне, что Андреевский спуск вымощен ис-

ключительно молчащими камнями.

– А разве бывают другие? – спросила я ее.

– А ты разве не знаешь? – помню, бабушка Лу резко остановилась и внимательно посмотрела на меня. Как мама, когда она старается понять, больна я или просто от мороза такая румяная.

– Мостовые городов, всех без исключения, обязаны выкладываться только говорящими камнями. Тогда город будет стоять тысячи лет. Ему будет и не скучно, и защита какая-никакая от злых чар. Но Андреевский спуск совсем другое дело. В его домах происходят такие интересные события и такие невероятные чудеса, что если хотя бы один камешек начнет об этом болтать, то равновесие нарушится и все рухнет.

– Какое равновесие? Какие чудеса? Что рухнет? – помню свое недоумение. Да и сейчас я мало что понимаю в ее тогдашних путаных объяснениях.

– Давай по порядку, – кивнула бабушка Лу. Она становилась, взглядом нашла лавочку, присела, выпрямилась, достала из ридикюля тоненькую сигаретку. Извинилась: – Я не курю вообще-то. Но ты вдруг такие серьезные вопросы стала задавать, деточка, – она потрепала меня по волосам.

Мне тогда было десять и я горделиво вздернула подбородок. Мол, да, я такая – взрослая и серьезная, не то, что некоторые.

– Город жив и интересен, только если в нем хотя бы раз в

столетие происходит что-нибудь чудесное-расчудесное. Поэтому в каждом городе существуют хранители, которые за этим следят. Нашему городу повезло. В нем случается много чудес. Место, на котором он построен, ученые ваши назвали бы аномально-положительной зоной. А Спуск – ее сердце. Но если кто-нибудь из людей в серьез об этом задумается, заметит пару-тройку чудес, точно решит – так не бывает. Не бывает просто потому, что не может такого быть. Это невозможно, – подумает этот кто-то. Показалось, – подумает следующий. Отмахнется. Затем другой, третий... Люди всегда и чему угодно могут придумать «разумные», правдоподобные объяснения. Чудес от такого обращения будет становиться все меньше и в один день – раз! – и нет ни города, ни его жителей. Это есть закон равновесия. Равновесия между чудесным и обычным. Людям позволено замечать только те чудеса, которые могут, например, подтвердить существование Бога – монахов-чудотворцев, святую воду, иногда священный огонь какой-нибудь. Другие же чудесности должно хранить в тайне. Лучше пусть уж их не замечают, чем в них не верят. Так что и ты, пожалуйста, никому никогда не рассказывай о нашем разговоре.

Я пообещала. И никому. Никогда. Разве что сегодня. Но сегодня просто день такой – все можно. Не только мне. Но и вам.

– А какие-такие чудеса здесь происходят, что о них даже камни должны молчать? – помню, спросила я бабушку Лу,

спустя два года на том же месте.

– Ну вот смотри. Видишь воон ту арку? – она указала на узкий проход между двумя ветхими пятиэтажками. Я молча кивнула. – Если пройти под ней ровно в полдень, то совершенно точно намокнешь. Потому что она плачет. Каждый божий полдень.

– Почему? – удивилась я.

– Ну кто его знает, – пожала плечами бабушка Лу. – Может быть потому, что считает, что ее молодость давно канула в лету. Может быть, тоскует по ушедшим дням. Может, вспоминает кого. Слышала я от местных старожил и то, что когда-то на Спуске был художник. Он продавал свои картины именно возле этой арки и якобы после его исчезновения это и началось. Я все забываю спросить у нее.

– У арки? – переспросила я совершенно сбита с толку.

– А у кого ж? – улыбнулась бабушка Лу. – Хочешь, спрошу у тебя. Думается, твой ответ мне больше будет по душе. Я сказки люблю. А правду ни за какие коврижки бы слушать не стала. Только говорить.

– А еще? – помню, спросила я.

Не потому что хотела перевести разговор в другое русло. В двенадцать лет подобные тонкости взрослой дипломатии еще не практикуются. Просто мне было важно вытянуть из бабушки Лу как можно больше историй.

За несколько дней до этого разговора она случайно обмолвилась, что ее посетила ее пятнадцатая по рождению сест-

ричка и напела, что отец вроде бы готов выслушать ее извинения. Полсотни лет не так уж много для русалок, но здесь, на земле, ее тело ссохлось и если так пойдет дальше, то оно придет в совершеннейшую негодность, – вздохнув, добавила бабушка Лу. – Так что батюшкино прощение как-то почти вовремя.

Я поняла в тот момент, что волшебным историям этой невероятной старушки может прийти конец. И не когда-нибудь может быть, а уже совсем скоро. Как-то не по себе мне стало. Но я понимала, что отец – это святое и раз он готов ее простить, то что ж делать, надо...

– Вот в этом доме, видишь, – она указала на двухэтажку, на первом этаже которой, красовался нарядной вывеской художественный магазин, – живут торговцы снами, в подвале у них подпольный цех по производству кошмаров. Людям сейчас редко нужны волшебные сны. Только созерцая всякие ужасы, они успокаиваются: мол, все у меня не так уж плохо и боятся мне вроде как нечего и просыпаются довольные своей скучной жизнью. Торговцев снами всего трое. Они делят между собой весь второй этаж. Видишь, непроницаемые темно-синие занавеси в окнах? Уверяю тебя, у всех троих такие же.

– А вот в том доме, – бабушка Ли указала мне дом напротив, – живет писатель погоды. Вообще он сказочник. Он сам так думает. И люди, которые его читают, тоже так думают. Но на самом деле... на самом деле, какая погода как у него

в сказках, такая и на улице. Можешь себе представить, ему за шестьдесят, а он до сих пор не заметил. Очень уж он за-
циклен на своих сказках.

Я, конечно, слушала бабушку Лу затаив дыхание. Но пи-
сатель погоды это как-то уж слишком. Но если сейчас хоро-
шенько вспомнить, как все тогда было, то можно и удивится,
что в синем безоблачном апрельском небе вдруг появилась
темная снежная туча и несколько снежинок медленно, при-
танцовывая, опустились на кончик моего носа. И как потом
все вдруг встало на свои места, будто никакой тучи не было.

– А вот в этой галерее директриса – фея. Когда-то давно
она встретила в своем лесу скульптора. Не ахти какой, честно
говоря, он был гений, но фея эта влюбилась в него по самые
кончики ушек. А потом, когда он умер, она стала привечать
молодые дарования. Вот галерею открыла. А в лес так и не
вернулась.

Бабушка Лу озадачено посмотрела на меня и поинтересо-
валась:

– Ты еще не устала, деточка? Все-таки полгорода обо-
шли...

Я отрицательно помотала головой, купила у проезжающе-
го мимо мороженщика эскимо за шестнадцать копеек себе и
бабушке Лу и испытующе посмотрела на нее. Продолжайте,
дескать, я готова.

– Ну хорошо, – старушка хитро улыбнулась и продолжи-
ла. – Видишь дворик? Да тот, вход в который закрыт кова-

ными воротами. Так вот, в нем есть лавочка. Если задать какой-нибудь вопрос и присесть на нее, то непременно получишь ответ.

– С неба? – охнула я.

– Почему с неба? – рассмеялась бабушка Лу. – Нет. Может быть ветром принесет, может, разговор-какой подслушаешь, может кошка на колени запрыгнуть. Вообще на самом деле весь наш мир – как сеанс у гадалки, только и успевай замечать знаки, символы, получать ответы... просто в этом дворике все так явно, что аж дрожь в коленках. Скажем я, когда отец изгнал меня из дому, бродила здесь и увидела, что ворота открыты, присела на той лавочке и стала размышлять, как мне теперь жить дальше. А тут какой-то пузатый мужик в растянутой майке на балконе громко в запале крикнул, обращаясь к своей супруге: «Вот лет через сорок посмотришь, что он тебе ответит!!!». Кажется, они обсуждали своего сына. Так-то.

– А вот этот фонарь, – продолжала бабушка Лу, указующим перстом направляя мой взгляд на старомодный пятигранный фонарик, висящий над входом в кафе в подвале грязно-серого пятиэтажного дома, – он знает все на свете, а никому рассказать, бедолага, не может. Только светит печально с вечера до утра. Но проходим его меланхолия, прямо скажем, неинтересна.

– А в этом доме на третьем этаже живет собака, которая пока спит является не просто собакой, а СОБАКОЙ ПРО-

ФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО. И так ей интересно, что спит она двадцать три часа в сутки. Что бы ее хозяин с ней не делал, даже кофе пробовал ее поить – бесполезно. Раз в день проснется, выйдет во двор, сделает все свои дела и назад на свой коврик. Представляешь?

За сей поучительной беседой мы в тот день спустились к самому подножию. Путь этот венчал то ли магазинчик, то ли галерея, сейчас не вспомню, в витринах которого притаились еврейский портной и Проня Прокопивна, играющая на рояле. Это были, конечно же, манекены, но в человеческий рост. Особенно умилял бант на талии барышни, огромный, почти как на кимоно у гейш. Бабушка Лу, ласково погладила стекло и шепнула:

– Ничего, скоро отдохнете.

Я удивилась.

– А чему ты удивляешься девочка? Эти двое – лучшие из своего клана. Они согласились позировать туристам только с условием, что три недели в году им предоставят оплачиваемый отпуск.

– Оплачиваемый? Отпуск? Манекенам?

– Ну деньги им предположим не нужны, – улыбнулась бабушка Лу. – Но хозяйка каждый год запаковывает их в большой деревянный ящик и отправляет в Сочи к своей сестре. Там они загорают, набираются сил и возвращаются вполне себе довольными и жизнерадостными.

– Ммммм... – только и могла я сформулировать ей в от-

вет.

А потом бабушка Лу умерла. Нет, не сразу после этой нашей прогулки. Детские часы удивительно устроены, сейчас я думаю, что прошло чуть больше восьми месяцев – с лета до следующей весны. На ее высохшее тело, одетое во что-то очень странно-малиновое с перьями, падал мокрый снег. Провожающие зябко ежились и прятались под цветастыми зонтиками. Помню, что я не столько огорчилась, сколько разозлилась. Выходит, что никакая она не русалка; выходит, что она все наврала. И про дракона, и про гнома и про торговцев снами. Первый раз в жизни меня предали – так я решила. И единственно возможным способом отомстить за предательство было – забыть все.

Все, значит все, – говорила я себе каждый день до самого лета.

Я сказала – все, – напоминала я себе, слоняясь по одуревшему от жары городу.

Хватит уже, – ругалась я на себя, тревожа кроссовками опавшие листья.

И только к концу осени я смогла заплакать. Мои слезы смешались с ноябрьским дождем, а сердце болезненно сжалось. Кажется, именно той осенью я повзрослела.

Всю зиму и начала весны я грустила. Родителей пугало то, что я почти перестала есть и бегать, а вечерами сижу с выключенными лампами и смотрю на улочки, залитые тусклым светом фонарей, но они ничего не смогли поделать. Мама

пожимала плечами, папа чесал в затылке, а вместе они решили, как и все родители, которые на все согласны лишь бы не вникать в проблемы детей, – переходный возраст.

А в мае следующего года я решила, наконец, определиться. Мне было важно понять, правдивы ли истории бабушки Лу. Потому что если нет, совершенно непонятно зачем все это было нужно. Конечно, я пошла в тот дворик, где можно получить ответ на любой вопрос. Долго сидела на лавочке. Мысли путались, сформулировать свой внутренний конфликт, замешанный на горечи и одиночестве, оказалось нереально сложной задачей для четырнадцатилетней девочки. Я просто сидела, смотрела в небо и ждала непонятно чего.

А потом ветер принес листок бумаги. Белесый тетрадный клочок с расплывшимися чернилами, заботливо расчерченный синими клетками, легонько стукнулся о мою туфельку. Я откуда-то знала, что это не просто мусор. Помню как, стараясь не обращать внимания на внезапно обнаруженный в груди гулкой будильник и трясущиеся мелкой дрожью пальцы, подняла листок. Как разворачивала его, неслышно шепча губами слово «пожалуйста». Как, не веря своим глазам, читала то, что в нем было написано; перечитывала раз за разом, пока до меня окончательно не дошел смысл ее послания: «Для того чтобы верить, не нужно знать наверняка, девочка. Для того, чтобы стать чем-то иным, нужно сначала распрощаться с тем, что тебе мешает. И наконец – встретиться мо-

гут только те, кто однажды расстался».

Кто однажды расстался, – твердила я про себя, пока поднималась с лавки.

В метре от меня на влажном от майского дождя асфальте желтела одинокая озерная лилия.

Вечерняя задумчивость

– Он появился в самом темном углу кухни. Кажется, за холодильником. Во всяком случае, первый раз я увидела его, когда он выкатился из щели между стеной и морозильной. Маленький комочек пыли. Хоть и слишком густой, чтобы его происхождение сразу стало очевидным. Подлетел к моим ногам. Я взяла веник и собралась, было, убрать это безобразие, но это чудо бытового хаоса поднялось в воздух, резко, одним прыжком и сразу на уровень моих глаз. И я увидела, даже тогда я могла в этом поклясться, увидела как он улыбается, а в щелках, где у людей расположены глаза и рот, просвечивал солнечный свет. Можешь считать меня сумасшедшей, но я почувствовала легкое сотрясение воздуха, как сквозняк, только на лице и поняла, что он пытается со мной заговорить. Смешно, – помню, подумала я. Помню еще, что почему-то не кинулась к телефону звонить в скорую психиатрическую помощь. Интересно почему. Ну да не важно. Ведь с тех пор у меня было много возможностей предать свое буйное воображение в руки специалистов по укрощению ему подобных. Я стала называть своего нового знакомца Пыленок. Ну, как цыпленок. Разрешила сидеть на шкафчике и перестала открывать настежь форточку, чтобы его не унесло ветром. Можно сказать подружились. Но вчера... Вчера я заметила, что он растет. И что становится... как бы так выразит-

ся... более плотным что ли. А нынче утром я увидела как в его плотности, словно в незаконченной скульптуре, просвечивают черты совершенно человеческие. Мало человеческие – мужские. И даже как-то сразу понятно стало чьи. Моего покойного бойфренда. Афериста, весельчака, сорвиголовы, который не дожил до своего тридцатого дня рождения каких-то два дня (можно подумать они бы что-то изменили). Погиб при невыясненных обстоятельствах. Все клялся мне в вечной любви, замуж звал. Видать не врал. Что же мне делать-то теперь? Ждать? Или лечиться? Подскажи, киска...

Я есть, я был, я буду...

Безнадежность и беспомощность – два спутника моего мира. Бессловесность и безволие – обезличенная обезглавленная картина. Я – заключенная в коконе сущность, не ведающая света и тепла.

Бабочка – никогда не узнающая что значит свободный радостный полет в красочном небе. Я – все и ничто одновременно. Я есть, я был, я буду, но не здесь и не сейчас, а когда-нибудь, где-нибудь, может быть.

Я – неиспользованная возможность, незамеченный знак, несделанное открытие. В сумерках глаза мои темны и глубоки как вода в колодце, на рассвете – светлы и прозрачны. Пройти мимо меня – пара пустяков, а вот заметить – дар, данный единицам из живущих ныне.

Накинув на свое тщедушное светящееся тельце черный плащ с капюшоном, тенью блуждаю по дорогам, останавливаясь на поворотах, пока кто-нибудь не задет меня локтем и не увлечет за собой, так и не заметив соседства.

Я все и ничто одновременно.

Звезды плачут, а солнце тускнеет, едва на горизонте показывается кончик моего плаща. Цветы вянут от холода, струящегося из моего сердца на все, что имеет несчастье оказаться на моем пути. Дорога – и та съезживается от страха.

Но ведь сам по себе я – безобиден, я – ничто. Это хозяйева

мои – люди – делают меня тем, что я есть.

Вот к примеру, один очень добрый человек, зацепивший меня кончиком своего сапога и унесший в свой дом, всю жизнь мечтал о славе и почете. Ну, на что они ему сдались, скажите на милость? Ему было мало достатка, любящей жены и трех здоровых и красивых деток. Он возомнил себя великим поэтом всех времен и народов. Но ведь не слава делает человека поэтом, скорее, наоборот: гоняясь за признанием, можно потерять самое главное – божью искру.

Он, конечно же, благодаря моей силе получил то, чего желал всем сердцем, но равновесие было нарушено безвозвратно: книжный магазин, который он унаследовал от отца, зачах, детки его заболели, а жена ушла к другому. Все это было слишком для поэта, потому что человек этот не умел бороться. Он запил и умер в нищете, успев осчастливить мир тремя сборниками своих нетленных творений.

Творения-то действительно нетленны, а вот слава его стала посмертной. Моя ли в том вина? Не знаю. Не уверен.

Когда остывшее тело поэта выносили из дому, пробегающий мимо мальчик подцепил меня на рукав своей рубахи. Самым горячим его желанием на тот момент было то, чтобы его любимая мамочка выздоровела. И я стал возможностью выздоровления. День спустя в небольшой городишко, где жила семья этого мальчика, приехал столичный хирург – он и сделал нужную операцию. Женщина осталась инвалидом до конца своих недолгих дней, но сын ее был счастлив,

что она жива. Успокоившись, он так и не выполнил того, для чего родился. А ведь он мог стать одним из известнейших врачей того времени. Пережив, оплакав мамину смерть, он во что бы то ни стало решил бы найти лекарство от ее болезни. И у него это бы получилось. Он смог бы спасти столько человеческих жизней, если бы не подцепил меня на кончик своего рукава!..

Еще мне вспоминается один убийца, который случайно задел меня рукояткой своего кинжала. Он был немного сумасшедший, этот мой хозяин: он жаждал крови и одновременно безумно хотел избавиться от своей жажды!

Первой жертвой моего хозяина стала девушка, дочь цветочницы. Она была прекрасной как белая лилия, растущая посреди репейника. Однако красота ее могла бы обернуться большой бедой, если бы девушка осталась жива. В Книге Судеб ей было предназначено стать матерью одного из самых страшных тиранов эпохи. Прошло бы несколько лет и в нее влюбился бы наследный принц, увидев ее в толпе горожан, провожающих королевский кортеж из одного большого города в другой. Женился бы на ней вопреки воле царствующей матери (она бы простила его со временем – на то она и мать!). А девушка родила бы своему любимому наследника. Повзрослев, ее сын развязал бы войну длительностью в две сотни лет для услады своего властолюбия, погубил бы не одну тысячу ни в чем не повинных людей и разорил бы ни одну страну, не заботясь о том, что люди, подвластные ему,

умирают от голода целыми семьями...

Еще одной жертвой моего хозяина стал юноша, двадцати лет от роду. Он возвращался ночью от богатой престарелой дамы, нуждающейся в ласке его юного тела. Хозяин не хотел его убивать. Но юноша безумно испугался, увидев в руках прохожего лезвие ножа, и бросился бежать со всех ног и вопить во всю свою молодую глотку. Он мог разбудить полисмена и хозяина ждала бы казнь – у него не было другого выхода кроме как убить молодого человека.

Хотя, на мой взгляд, это как раз не большая трагедия. Юноша этот сластолюбив был без меры. Через пятнадцать лет, он, сменив больше сотни любовниц, довел бы до самоубийства юную девушку из бедных кварталов по имени Роза. Роза бы влюбилась в него с первого взгляда, потому что красив и статен был этот юноша как Адонис. Он бы воспользовался ее наивностью, устав ласкать тела престарелых нимфоманок, а потом сдал бы за ненадобностью в один из процветающих Домов Усад столицы. Роза не смогла бы вынести позора и отравилась бы крысиным ядом в первую же ночь. Но, хозяин подарил неведомой ему девушке, которая в этот момент только ходить начала, другую судьбу. Роза выросла, стала женой богатого любящего мужчины и построила первый в городе сиротский приют и еще несколько таких приютов в городах поменьше.

Последней жертвой моего хозяина стал старый брюзга – полисмен, единственной страстью которого было вылавли-

вать ночью на улице молодых мальчиков и превращать их в свое развлечение, а затем сажать в тюрьму до тех пор, пока они не сойдут с ума от позора и одиночества. Как раз когда хозяин избавил город от этого нелюдя, даже не подозревая об этом, его и охватил приступ мук совести. Я стал его возможностью прощения и искупления... Хозяин мой принял постриг и стал настоятелем монастыря, в его душе с тех пор царит мир и покой. Но кто знает, правильно ли это?..

Еще один мой хозяин был рожден очень бедными родителями, поэтому как никто в мире желал стать богатым. Ему казалось, что деньги решают все проблемы на свете и даже от смерти можно на некоторое время откупиться. Он был необычайно талантлив, но он так никогда и не узнал об этом. Хозяин собирался бежать из дому в день своего семнадцатилетия, чтобы попытаться найти свое счастье на далеком континенте. Он бы сел на корабль, познакомился бы с одним из величайших теноров того времени, который обнаружив талант мальчика, стал бы его учителем и поводырем в жизни. Но за день до своего семнадцатого дня рождения он случайно зацепил меня на том перекрестке, где я остался, проводив бывшего убийцу до ворот монастыря, потому как ни одна церковь в мире не подпускает таких как я ближе, чем на десять метров.

Я стал его возможностью разбогатеть так быстро, как он хотел. Не без моей помощи он нашел кошель с деньгами, купил себе сначала бакалейную лавку, затем мясную, затем ра-

зорившийся книжный магазин, затем он вложил заработанные деньги в банк, затем купил этот самый банк, а, подзаработав, купил еще несколько. Он пошел по пути не предназначенному ему, стал несчастным и подозрительным, ведь страх потерять все заработанные деньги не давал ему даже спать спокойно, не то, что заниматься самоанализом. Он был одинок – у него не было ни одного друга. Даже жены у него не было – хозяин до дрожи в коленках боялся что женщина, которую он подпустит к себе близко, обязательно избавится от него, чтобы завладеть его деньгами. Хозяин умер тогда, когда его паранойя дошла до абсурда – от обычной простуды – в страхе от того, что любой человек, которого он попросит о помощи, воспользовавшись его слабостью, присвоит себе все его богатство...

Если бы я снова стал человеком, но с теми знаниями, которыми я сейчас обладаю, я, наверное, смог бы исправить причиненный собой же вред. Но я всего лишь Возможность. Ничто и все одновременно. Я подчиняюсь воле своих хозяев, а не своей собственной, потому что собственной воли меня лишили несколько столетий назад.

Оставив свое тело разлагаться в свежевырытой могиле, я был призван Судом Богов. Мой ангел-хранитель защищал меня как мог, но приговор Высших Судей был однозначным: за то, что я единственную данную мне земную жизнь бездарно и бессмысленно потратил, я наказан тысячелетием скитаний по чужим судьбам.

Впрочем, срок этот уже подходит к концу. Что меня ждет дальше? Не знаю. Представления не имею. Слышал от братьев, ночных странников по дорогам Судеб, что Боги дают немногим из нас возможность прожить еще одну человеческую жизнь. Не всем, конечно.

Было бы отлично, если бы это было именно так. Свою последнюю попытку – жизнь, я больше не пустил бы коту под хвост. Я бы любил и творил. Я бы читал и познавал. Я бы радовался каждому вдоху и каждому глотку чистой воды. Я бы меньше ел, но больше наслаждался бы процессом еды. Я бы жил в горах и наблюдал бы каждое утро как из-за них медленно поднимается красноватый солнечный диск. Не приямл бы ни одной лишней травинки. Не убил бы ни одного лишнего насекомого. Не обидел бы зря ни одного человека. Я научился бы дружить. Я встречал бы каждое новое утро с улыбкой ребенка и влажными звездами благодарности в глазах. Я создавал бы прекрасные вещи и дарил бы их каждому проходящему мимо моего дома. Я бы любил жизнь и ценил бы то, что она дает мне. Я бы ЖИЛ...

Босиком по звездам

Бывает, что земля уходит из-под ног. Бывает, что обрета-ется не сразу. Иногда это приятное ощущение полета. Иногда отвратительное чувство пустоты. Не суть важно. Главное возвращение. Но иногда...

Хорошо, по порядку.

Я спал и мне снилось...

Вернее мне нравится думать, что я именно «спал» и что мне именно «снилось», иначе визит к психиатру был бы наи-более безболезненным исходом прошедшего предприятия. Итак, я спал и мне снилось, что мое тело стало настолько огромным, что планета, на которой я имел счастье родиться легко могла уместиться на моей ладони, а Солнце было раз-мером с футбольный мяч. Я мог бы даже взять его в руки, у меня бы получилось, но нарушение космической гармонии не входило в мои планы в том сне. Оно и к лучшему.

Я легко преодолел пределы Солнечной системы, прибли-зительно в полтора шага, и двинулся по направлению к Си-риусу.

Идти было легко, планеты отскакивали от ступней слов-но камешки. Но я не был ослеплен этой легкостью. Своевре-менно прочтенный рассказ Бредбери об «эффекте бабочки» хорошо промыл мне мозги и с тех пор я ни на йоту не за-бываю о вселенской важности каждого падающего с дерева

листка.

Пахло утренней свежестью и влажными раскаленными камнями. Так пахнут звезды и путь между ними, теперь я это знаю. Других ощущений не было. Только ненавязчивые воспоминания о блаженной свободе, невесомости и безмолвии пребывания в маминой утробе. И понимание, что никакой разницы между двумя этими состояниями, в общем-то, нет.

Я старался, как мог, не наступать на небесные тела и уворачиваться от астероидов и метеоритов; обходить Черные Дыры и не сходить с Млечного Пути. О возвращении я не думал. Моя голубая планета осталась далеко позади, и я уже не был уверен, что смогу отыскать ее среди миллиона таких же серо-голубых песчинок и пары сотен горячих футбольных мячиков. Не помню, чтобы меня это огорчало.

Когда Сириус остался далеко позади, я увидел их. Наверное, это и были Боги, которыми так любят пугать проповедники и священники нерадивую паству, каждый – свою. И я ничем от них не отличался.

Разве что света в них было больше. Точнее они были светом больше, чем я. Не могу объяснить по-другому.

Их было несколько. Они столпились вокруг чего-то почти плечом к плечу. И меня заметили не сразу. Зато я хорошо видел, как они общались: молча, обменивались не словами, а световыми частицами (попробуйте представить процесс обмена светом между двумя настольными лампами, поставленными одна напротив другой – как-то так) и являли собой

единое целое, разделившееся на отдельные части только при моем приближении.

– Наш спор окончен, – рассмеялся один из них, перейдя на доступную моему понимаю речь. – Новенький пусть и раскручивает.

– Согласны, – вспыхнули остальные (ну а как еще объяснить, если они не сказали это вслух, а именно «вспыхнули» слегка и все разом?!).

– Что раскручивает? – поинтересовался я.

– Юлу когда-нибудь видел? – спросил меня кто-то из них.

– Да...

– Новорожденная Галактика очень напоминает игрушку маленьких богов. С той лишь разницей, что у нее нет ручки, на которую нужно надавить. Подойди ближе.

Я сделал несколько шагов и узрел, наконец, предмет шутиwego спора этих невероятных существ. Темная округлая пустота Черной Дыры, изогнутые лучи цепей созвездий, вяло мерцающие солнца, отсутствие движения, отсутствие жизни, неподвижность. Я понял, чего они хотят.

– И как это раскрутить? – поинтересовался я.

– Своим желанием, – рассмеялись один.

– Захоти и направь силу своего желания в центр. Закрутится, как миленькая, – радостно сообщил второй.

– А почему я?

– А почему нет?.. – удивился третий. – Мы этим занимаемся постоянно. От скуки уже спорим кому из нас, а тут ты...

Не воспользоваться таким случаем...

– Я понял, – улыбнулся я и закрыл глаза. Сосредоточился...

– Эй-эй, не так быстро, – услышал я восхищенный возглас. – Больше силы, но меньше напора... Черная Дыра – ось этой центробежности, туда и направляй... Так. Теперь больше порядка и плавности... Почувствуй себя частью этой Галактики, тогда сможешь нащупать ее внутреннюю гармонию... Созвездия не должны висеть без дела, они как лопасти вертолета вокруг центра... Теперь каждую Звездную Систему в отдельности... Нет, в другую сторону... Все, свершилось! Для первого раза – просто прекрасно!

– Вот видишь, а ты боялся, – усмехнулся второй.

– Рутина, – выдохнул третий.

– А для чего еще..., – вдохнул четвертый.

Потом я стал частью их целого, мы неслись куда-то световым ветром, останавливались, закручивали очередную галактику, и снова неслись. Когда мы разделялись, я чувствовал легкую тревогу, когда снова соединялись – сочастие и радость. И так долго, живительно бесконечно, а потом...

– У него нет больше силы, – сочувственно сказал один. Не видел кто из них, способности воспринимать хватало только на то, чтобы слышать.

– Наверное, надо было ему сначала окрепнуть, – шепнул второй.

– Все дело в том, что он все еще не расстался с мыслью о

планете, на которой свершался, – возразил третий.

– Согласен, скорее всего, там остался кто-то, кто ему очень дорог. Может быть, попросить помощь других? – задумчиво прошелестел четвертый.

– Вряд ли поможет, – выдохнул первый. – Ему необходимо восполнить запас утраченной силы... Или разлюбить.

Помню как я падал и уменьшался, как от скорости и метаморфоз кружилась голова, а перед глазами вертелись звезды, на этот раз вовсе не космические тела, хотя...

Помню ощущение тяжести, боли и невероятно сильного давления по всей поверхности тела, помню громкий звук, с которым стукнулось о пол мое падающее с кровати тело и совершенно невыносимый яркий вольфрамовый свет ночника.

И успокаивающее поглаживание сына по волосам, и его синие глаза, полные тревоги. И его залиvistый смех облегчения спустя всего секунду.

– Ты где был так долго, папа?..

Sechs. Sieben. Dreizehn. Achtzehn. Zwanzig sieben

Совершить чудо для других – гораздо легче, чем сотворить хотя бы маленькое чудо для себя...

Если бы я только мог, я бы сделал это еще двадцать семь лет назад, когда питался одной морковкой с колхозного поля всю осень, зиму и весну... Ветер политических перемен обернулся для меня тогда яростным цунами, сметающим все, к чему я привык. Тогда я еле сдерживался, чтобы не повесить заработанный потом и головными болями диплом института народного хозяйства на самое видное место в деревянном домике, рядом с пустым огородом. До сих пор этот ярко-оранжевый ни в чем не повинный, в сущности, корнеплод, вызывает во мне рвотный рефлекс, если конечно не в борще и его не видно.

А между тем, приблизительно в тот же год, я придумал байку и рассказал своему отчаявшемуся приятелю, чью шею только вынул с петли, что в заброшенном доме за старым кладбищем, раньше жил беглый офицер белой армии. Прежде, чем его родовое поместье было стерто с лица земли коварным адским пламенем, вызванным заклинаниями и спичкой юного большевика в буденовке, он успел достать из сейфа фамильный, древний, размером с перепелиное яйцо,

розовый бриллиант своей бабушки. Я живописал во всех подробностях и красках, как этот беляк тикал по украинским лесам, скрывался от бендеровцев у нежной польской пани, зачем-то сбежавшей из Польши на Украину перед самой первой мировой. И как потом выкупил за мамин крестик дом в нашем захолустье, украв предварительно форму одного из тех, кто поклонялся великому гуру Ульянову. Иначе скрыть голубую кровь, текущую по его жилам было нереально.

Я расплылся три часа. Ровно столько времени понадобилось для того, что мой приятель, во-первых, напрочь выкинул из головы мысли о, все еще висящей под потолком петле, и во-вторых утвердился в мысли, что розовый бриллиант, стоящий бешеных денег, все еще спрятан где-то в том доме. Слава богу, что он не додумался поинтересоваться у меня, почему я до сих пор не нашел драгоценность. Как-то этот факт прошел мимо него. И, слава богу. Потому что в том самом доме, именно этот мой приятель, нашел мешочек с золотыми монетами екатерининских времен. Как он туда попал... И как он сохранился до тех пор... Вопрос не ко мне, а к работникам небесной канцелярии.

Я мог бы совершить для себя хотя бы малюсенькое чудо восемнадцать лет назад, когда не хотел покидать родину, но бежал от безысходности и бардака в фатерляндию... Сменил старый дом моих родителей на махонькую квартиру и пособие, а отсутствие единомышленников на одиночество. Как мне тогда казалось это – единственный способ избежать еще

большей нищеты. Творилось черт знает что. Люди превратились в животных. Путали свободу со вседозволенностью, демократию с анархией, достаток с крайней формой мани-мании.

Знал бы я...

Знал бы я тогда, что морковь, посаженная обветренными руками брата и школьных приятелей, не покинувших родную дыру в срок и поэтому оставшихся до конца жизни копать в земле – слаще в мириады раз, чем шоколад, вымешанный чистенькими ручками кондитерши, что живет через улицу. Эта улыбчивая дюссельдорфская фрау всегда завораживает для меня в бумажный пакет ровно семь маленьких плиток. А восьмую, хитро подмигнув, опускает в зазор декольте меж своих пышных груди.

Около семи месяцев назад, эта милая кондитерша, хлопала носом за стойкой, размазывая голубые тени по своему розовощекому личику. Пока она со мной флиртует, мне нет дела до ее нимфоманских амбиций, но женские слезы – именно тот единственный рычаг, который пригоден для управления моим, сосредоточенным на любимой женушке, вниманием. И как бюрген меня раскусила, ума ни приложу.

Я сменил равнодушие на милость и поинтересовался у несчастной жертвы эмансипации, в чем дело. Конечно, мне пришлось выслушать нудную историю об очередном испарившемся в объятиях горгоны Персее. Мне также пришлось срочным образом при помощи древней хиромантической

практики, которой я владею в той же мере, в какой владею управлением звездолета, убеждать ее, что не позднее, чем к завтрашнему полудню, Фортуна Семейного Очага сжалится над ней и явит ей прекрасного принца на белом мерседесе. Сейчас фрау все еще флиртует со мной, но уже по привычке. По той же привычке, по которой не захотела отказаться от своей маленькой кондитерской, хоть и переехала в шикарное поместье своего нового мужа. Впрочем, у нее есть машина. Не мерседес конечно, но до своего магазинчика она добирается всего за полчаса.

Если бы я мог совершить чудо для себя... Я бы сделал это еще восемь лет назад, когда старшая дочь покинула нас, изменив умеренно-влажному климату тяжкообретенной фатерляндии с жарким ветром побережья Мертвого моря. Ее мальчишек, своих внуков, я до сих пор видел только на фотографии. На фотографиях – свадьбу дочери, на фотографиях – только что родившегося старшего, а потом и младшего внуков, крестины, семейные обеды... Их первый, второй, третий и все последующие дни рождения... Футбольные матчи мальчишек – застывшие мгновения полета над землей в попытке поймать мяч... Все на фотографиях...

Но именно при помощи фотографии я вылечил когда-то одну иппохондричную проводницу в поезде Киев-Одесса.

Она была уверена, что у нее страшная, невиданная доселе хворь. Боязнь резиновых шлепок. Их обычно используют пассажиры поездов и спортсмены в душевых. Проблема в

том, что эта невинная в сущности блажь, заставляла бедняжку обливаться холодным потом и терять сознание при всякой случайной встрече с монстром из семейства полимерных. Если же она случайно о него спотыкалась, неделя горячечного бреда была обеспечена. Я вошел в ее положение и попросил фотографию.

Пока проводница искала свою миниатюрную копию, я одолжил у соседа по купе китайский перочинный нож, украшенный уродливыми разноцветными стекляшками. Кто-то считал подобное издевательство дизайнерским шедевром. Покопавшись в сумке, я нашел огарок свечи, который для чего-то спер из гостиницы. И там же, не случайно, а специально, откопался костюм для Хэллоуина. Я вез его своей старшей дочери в подарок. Накидка зловещего Дедушки Мороза из Ку-клус-клана с капюшоном с прорезями для глаз. Нереально прекрасного черного цвета. Все это безобразие я нацепил прямо поверх спортивного костюма. Сосед мой угорал на верхней полке, но я сделал предупреждающий жест указательным пальцем правой руки и натянул капюшон на лицо. Нож, блюдце и свеча стояли на столе.

Проводница принесла мне маленькую карточку, предназначенную скорее всего для паспорта. Моего вида она не испугалась, как ни странно, лишь слегка вскрикнула, прикрыв рот ладонью. Пришлось приподнять верх накидки, чтобы она успокоилась. Я объяснил ей сперва, что я – потомственный маг Школы Огарка и Кинжала, и что сейчас бу-

ду совершать зловещий обряд избавления ее от страха резиновых шлепок. Она кивнула и присела напротив меня, уложив подбородок на ладони. Сосед погасил свет. Я зажег свечу. Положил ладонь на фото и начал говорить невиданные ни одному из писателей словарей звукосочетания. Сквозняк потушил свечу. Я сказал ей, что это злой полимерный демон не дает закончить обряд. Она понимающе кивнула и я продолжил. Через пять минут завываний, я поджег влажную от моих ладоней фотографию, а пепел струсил на кусочек бумаги и строго наказал проводнице закопать его в гравий между рельс на первой же остановке. Утром проводница призналась, что на рассвете первый раз смогла пройти по соседнему пладскартному вагону без содроганий.

Если бы я мог совершить для себя хотя бы малюсенькое, хоть самое завалящее, чудочко...

Я бы не стоял час назад как последний болван у окошка ларька на автобусной остановке и не водил бы старенькой, еще советской, шариковой ручкой по ярко-красным цифрам на лотерейном билете. Один евро – такова цена надежды. Не на выигрыш, а на то, что когда-нибудь я смогу увидеть своих внуков и обнять старшую дочь. На то, что когда-нибудь я вернусь на родину, построю большой белый дом с красной черепичной крышей на берегу Волги, заберу туда своих дочерей с их семьями, и смогу, наконец, каждое утро вдыхать сладковатый аромат сосен, меда, речной воды и покоя.

Я купил надежду. За одно евро. Сорок третий раз. И чуть

не опоздал включить телевизор. Вижу длинноногую бюрген со сладострастной улыбкой на кукольном личике. И слышу ее нежный голосок повторяющий комбинацию чисел:

– Sechs. Sieben. Dreizehn. Achtzehn. Zwanzig sieben. Vierzig drei... Und endlich. Acht!!! Auslosung ist beendet.

Святые покровители!..

И будет дождь, и будет радуга

Лето случилось уж слишком засушливое. Даже в моем родном городе, где температура выше +25 приравнивается к натуральному чуду, а дожди шесть месяцев в году, напротив, вполне нормальное явление. Жители к нему уже давным-давно привыкли и считают глупым менять свои привычки учиться и работать из-за почти круглосуточно льющейся с небес воды. А вот я уже успела отвыкнуть. Ехала навестить маму и заранее готовилась задумчиво вздыхать у окна, положив подбородок на ладони. А вместо этого мне пришлось срочным образом покупать соломенную шляпу, чтобы хоть как-то пережить отсутствие любимых солнечных очков и банданы, купленных в свое время на побережье Италии и благополучно оставленных за гипотетической ненадобностью дома.

Живу я в приморском городке и практически не расстаюсь с ними: это одни из тех повседневных вещей, без которых почему-то себя не мыслишь, хотя казалось бы... Но подарков для мамы было столько, что уложив на них необходимый минимум, и с трудом застегнув молнию сумки на колесах, во внешний карман уместился только кошелек и мобильный – какие уж тут очки, и тем более бандана... Меня это не то чтобы слишком огорчило, скорее, позабавило и ввело в глубокомысленную задумчивость (да, ту, что ан-

гличане называют таким страшным в советские времена словом «speculation») секунд на пять. Много для такой мелочи. Примерно столько же я потратила на осмысливание, совершенно не вязавшегося с моими детскими представлениями и воспоминаниями юности о родном городе, раскаленного асфальта и неподвижного горячего воздуха. Не только в пределах небольшого вокзала, но и за ними.

Я не долго мучилась состоянием когнитивного диссонанса. Поставила точку, выдохнув:

– Странно, конечно, но каких только чудес в жизни не случается...

Потом, уже ни времени, ни желания удивляться городу, также морально неподготовленному к жаре, как и я, не было.

Первый день я рассказывала маме о своей свободной, творческой и полной всякого разного жизни. Второй день мама о своей – трудной личной бизнес-эмансипированной судьбе, несколько раз я даже услышала обещание познакомиться с Толиком, по статусу бойфрендом, по сути – замом. Третий день мы просто занимались обновлением моего скудного, мальчишески – подросткового гардероба. При чем я кричала: «в этом я буду ходить только лет через двадцать, когда повзрслею и поумнею», мама: «тебя же юноши за своего пацана принимают, как же ты замуж выйдешь» – полный конфликт поколений, в общем. Поэтому на покупки ушло несколько больше времени, чем я втайне надеялась. И только на четвертый – и предпоследний – день я наконец-то

выбралась погулять.

Первое, что я сделала, воплотила свое юношеское желание. И не где-нибудь, а прямо на детской карусели под окнами собственной квартиры. Выкурила тоненькую сигарету. Курить не слишком хотелось, но вот покурить чуть ли ни на маминых глазах – очень. Дурацкое желание, не спорю. Но дурацких желаний нет разве что у Богов, и то – не факт. Мама так и не успела в свое время узнать о том, что меня уже успели научить курить, а, уехав, занявшись деятельностью более интеллектуальной и интересной, я бросила. Почти. Как все, кто попробовав первый раз сигарету или бокал пива, сразу не решили что это «гадость редкостная» и не выплюнули.

А потом меня понесло. Сначала по стоптанной, мною в том числе, травянистой земляной тропинке, ведущей в школу, до сих пор не заасфальтированной. Мимо родных пенат к рынку, почему-то называемому «пяточком», мимо входа в студию кукольного театра, где мы сами шили кукол и придумывали сценарии представлений, мимо хореографической школы... Я несколько раз просила маму отдать меня на балет, но каждый раз слышала ее категорический отказ:

– Захотела искалеченной судьбы, уродливых ног, боли в суставах и растущих то и дело шпор? Без меня, деточка, я в этом не участвую.

Уж кто-кто, а мама знала о чем говорила. Еле отбилась от высшего хореографического училища в свое время.

Потом, мимо парка, где меня первый раз поцеловал маль-

чик из параллельного класса, мимо кинотеатра «Спутник», где кроме «Ну погоди!», «Кин-дза-дза», «Заклятия долины змей» и «Полета навигатора» больше ничего не показывали, но мы с компанией однокашников все равно посещали все субботние сеансы подряд.

Мимо. Все мимо и мимо. Просто шла, отдавая дань своему радужному детству, вопреки тридцатипятиградусной жаре и полному отсутствию движения воздуха. По раскаленным бетонным плитам парка, поросшим чахлой желтой травой, по неестественно потрескавшейся земле пустыря сразу, еще при моем детстве, поломанными аттракционами.

Не знаю, сколько времени в этом городке не было дождя, нужно будет у мамы поинтересоваться... Деревья – уныло выжженные, люди – лениво-вымученные, стая бездомных собак, мимо которой я прошла с небольшой опаской, и та – меланхолично-дружно даже ухом не повела. Страсти-то какие... И все равно – с каждым шагом, с каждым смутно знакомым прохожим, я чувствую как оживают и расцветают всеми цветами радуги картинки моего светлого и потерянного детства. Многие уже забылось, многое, напротив, не забудется никогда.

Светлая ему память и новое воплощение.

О Господи, это еще что такое? В пяти шагах от меня стоит старое заржавелое «Солнышко» – качели с люлькой, делающие полный оборот на триста шестьдесят градусов сверху вниз, единственные, которые сломались не ранее, чем я вы-

шла из возраста любителей подобных душещипательных аттракционов. В люльке, полусидя-полулежа, сидит замурзанный ребенок, лет шести. Взгляд у него совсем не ребячий – таким взглядом смотрит человек, полностью утративший не только веру в людей, но и в то, что жизнь – не воплощенный ад, хотя бы иногда. Губки поджаты, да и синюшные какие-то – голодный он что ли? Смотрит куда-то под мои ноги, но меня не замечает. Играет желваками, хлопает ресницами...

Медленно, стараясь не спугнуть мальчишку, этого ново-явленного маугли, подхожу к качели, открываю железную калитку, достающую мне до пояса и сажусь на корточки.

– Меня зовут Ира.

Не реагирует.

– Где твои родители?

Отвернулся.

– Ты голодный?

Съежился, положил головку на колени.

– Пойдешь со мной?

Молчит. Пробую взять его за руку.

Не одергивает – уже хорошо. Помогаю ему подняться на ножки. Не такой уж он и маленький оказался. Худой просто. Его взлохмаченная головка достает мне почти до плеча, хотя я конечно далеко не Клаудиа Шиффер.

– Пойдем, – говорю. – Буду тебя кормить.

Задумался, а потом сжал крепче мою руку, и мы пошли искать хотя бы какую-то забегаловку, пусть даже уличную,

лишь бы там продавали не только пиво. Уже почти у железных ворот парка, ведущих на улицу, нас догнал дедушка. Откуда он взялся? Думаю что из вон той билетной кассы, больше вроде бы не откуда.

– Куда пацана ведешь? – крикнул.

– Кормиться. А что? Вы его знаете?

– Кормится это дело. Он уже третий месяц по парку ошивается. Прогоняю – возвращается. Его сердобольные старушки из окрестных домов покармливают.

– А где его родители?

– Да кто ж его знает!.. Город наш все-таки не маленький... Ты не цацкайся с ним особо – вдруг он больной, какой!

– Не волнуйтесь, – раздражено киваю и иду восвояси. То же мне – здоровый нашелся. У деда этого – нос свекольного цвета и щеки опухшие. То ли пьет много, то ли много пьет.

Мальчишка молчит всю дорогу, да и после того, как мы спустя минут десять находим более-менее приличное заведение с вывеской «Домашняя кухня», присаживаемся за столик и я заказываю тарелку борща, вареники с картошкой, компот – ему и чашку кофе-гляссе – себе, он не становится более разговорчивым. Ест как-то уж слишком вяло, будто и не голодный вовсе. В конце концов, и вовсе перестает ковыряться ложкой в тарелке борща, выпивает компот одним махом и смотрит на меня. Серьезно так. А в глазах блеск какой-то нездоровый.

– Ты не болен, часом? – спрашиваю.

Ответа, как и следовало ожидать, не последовало и я просто протянула руку и дотронулась до его лба. Да уж... Тридцать девять – не меньше. И что теперь с ним делать – в больницу вести? Так не примут, наверное, а если и примут, вряд лечить станут, сразу в детский дом какой-нибудь сдадут.

– Покажи горло, – попросила я его.

Училась-то я в медицинском, не на врача, правда, на психолога, и то недолго, но в принципе два курса общего медицинского и специального психологического не прошли даром. Кое-как простуду от ветрянки и психоз от невроза отличу. Давно уже занимаюсь живописью и арт-терапией, но образование из песни не выкинешь.

Ангина. Огромный багровый гнойник с белым кольцом вокруг – что-то в этом роде я подозревала. Придется лечить, а потом уж расспрашивать и думать что дальше.

– Пошли-ка, – говорю. – В аптеку, на рынок и домой.

На секунду в глазах мальчишки явственно читается удивление, но разговорчивей он от этого не становится. Ладно, может немой... Лечить-то все равно нужно.

– Дочь, ты что незаметно родила ребенка, сдала его в детский дом, а сейчас у тебя проснулись материнские чувства и ты решила познакомить меня с внуком? – протараторила мамуля едва за нами закрылась входная дверь.

Я не сдержала улыбки.

Мама... В своем репертуаре. Иногда мне кажется, что я взрослее ее...

– Ребенка нужно лечить, – бросила я, скидывая босоножки. – И еще неплохо было бы найти его родителей.

Тут мальчишка хватается за руку, отрицательно трясет головой, я читаю мольбу и нескрываемый животный ужас на его замурзанном личике. Что ж происходит-то?..

Мама удивленно приподнимает бровь, а вслух говорит:

– Ну, ну, милый, не хочешь родителей – не нужно. Сейчас будем полоскать горло и пить чай с малиной и медом. Уложи его пока в свою кровать, Ириш... Хотя наверное сначала – горячая ванна.

– Я позвоню Толику, у него брат – частный сыщик, может, поможет, – шепчет она мне на ухо.

Киваю.

Полчаса спустя выкупав, натянув на малыша свои джинсы и рубашку (и те и другие пришлось подкатать, но в остальном моя одежда была практически его размера, неужели я такая худосочная... ужас), уложив в постель и тщательно проследив, чтобы он выпил чай, посидев с ним, пока он не уснул, иду на кухню пить кофе. Мама задумчиво крутит в руке мобильный.

– Нужна его фотография, – говорит. – Может объяснишь мне, откуда он взялся? Я конечно ничего не имею против, но мне же интересно.

– В парке в люльке нашла. Жалко стало.

– Ааа, – неопределенно протянула мама. – Так бы сразу и сказала. А я-то надеялась...

– На что? – смеюсь.

– На чудо, – улыбнулась она. – Мне, несмотря на мое стройное тело и молодое лицо, ужасно хочется стать бабушкой.

– Мам, ну ты нашла кому мозги компостировать, – смеюсь. – Какой бабушкой? Ты же на своей работе днюешь и ночуешь, странно, что вообще додумалась взять отпуск на эти четыре дня... И потом, как только станешь официальной бабушкой, Толик твой станет неофициальным дедушкой – как тебе такое развитие событий?

– Смешно, – улыбается мама. – Толик – дедушка – это нонсенс, за ним самим еще глаз да глаз, того и гляди, поесть забудет.

Из комнаты доносится приглушенный стон мальчишки. Мы с мамой как по команде вскакиваем и мчимся в детскую. Одеяло сбросил, рубашка промокла от пота, развернулся чуть ли на сто восемьдесят градусов: на ту сторону кровати, где были его ножки, да еще и в позе зародыша. Спит и стонет – бедняга. Накрываем его одеялом и идем допивать кофе.

– Проснется, будем фотографировать, – заключает мама.

– Может не нужно...

– Ты предлагаешь его усыновить, что ли?

– Да нет, просто не хочет ребенок к родителям, мало ли, может, они били его... Нужно в милицию позвонить. Вдруг его ищут. Бабушка какая-нибудь или тетя...

– Эх, Ириш, давно ты, как я погляжу, с местной милицией не связывалась... Точнее никогда... Лучше подождем, что Толика брат скажет.

– Ладно, – пожимаю плечами.

Достаю из сумки Nikon, показываю маме фотки с моей последней выставки. Детки-аутисты рисовали, нужно было благотворительные взносы им на интернат собрать, а их немного абстрактные картинки продавались на удивление легко. Аутистов редко держат дома – слишком уж индивидуальный подход им нужен. Работать с ними возможно только при помощи красок и звуков. Прикосновений они боятся, говорить не хотят. Все это я и объясняю маме по ходу дела.

Мальчик проснулся и беззвучно лежал, аж пока мы с мамой не решили проверить как он. Температура спала немного – лучше, чем было, но хуже, чем могло бы быть. Посадили его, сфотографировали.

Накормили бульоном, дали лекарство, снова уложили. Говорить он не пытался. Вяло переводил взгляд то на меня, то на маму, в зависимости от того, кто из нас в данную минуту был с ним на связи. Жесткость во взгляде, напряжение загнутого подранка не пропала полностью, сокрылась до времени за отрешенностью. То, что он нас не боится – это хорошо, но его равнодушие не свойственно восьмилетнему ребенку (приблизительно такой возраст я ему приписала исходя из роста и чего-то там еще). Дети его возраста когда болеют, капризничают, требуют внимания, ласки, тут же сооб-

щают «что ты делаешь, я уже большой, справлюсь сам», балуются, не слишком любят пить лекарство, хотят мультиков и компьютерных игр, независимости и футбола... Непонятный случай.

– Что делать будем, у тебя поезд завтра? – поинтересовалась мама.

– Что-что, отпуск продлевать, не могу же я тебя бросить одну с ребенком, я же не папа, – улыбнулась я.

– Да ты, слава богу – не он, – рассмеялась моя мамуля.

Обиды на отца она не держала. Он был женат, когда они познакомились, она была девочкой совсем, он – ее преподавателем по экономике. Она влюбилась, он развлекался – обычная история. Но в отличие от других участниц подобных историй, мама изначально не строила иллюзий на его счет, они ей, видимо, вообще не свойственны. Их отношения длились полгода. Когда она сказала ему, что беременна, он погладил ее по головке, поинтересовался, что она будет делать, услышал «рожать», покровительственно бросил на стол сумму, должную внушить маме уважение к его щедрости, и пропал в огне новой страсти как стойкий оловянный солдат. Так и живем.

Вечером третьего дня мальчик наш, можно сказать, выздоровел, но жизни в нем от этого больше не стало. Лежит на кровати, перелистывает книгу за книгой (мы так и не поняли, умеет ли он читать), вряд ли вглядываясь в текст, останавливая взгляд только на редких картинках в «Робинзоне

Крузо», «Айвенго», «Острове сокровищ» и незаметно как-то, чтобы они уж слишком были ему интересны. Решила рассказать ему сказку, вдруг поможет.

– Далеко-далеко отсюда, за тридевять земель за десяток морей, на острове посреди океана стоит чудесный город. Люди в нем живут добрые и работающие. Сажают хлеб, пекут лепешки, варят смородиновое варенье и огромные драконы-леденцы на палочках. Зимой катаются на санях, летом – слонах, осенью – на пони, весной – на плотках по реке, разбивающей остров на две части ровно посередине.

Так уж повелось, что сдружились островитяне с животными и птицами, научились разговаривать на их языке, и звери, и наземные и небесные, платят им сторицей – рассказывают истории и поют песни.

Но однажды случилась беда. Приехал на остров незнакомец. Жители приняли его радушно, также как привыкли принимать всех редких гостей. Но недобрые помыслы оказались у приезжего. Он поселился в отдалении. Начал зверей отлавливать и птиц стрелять себе в пищу.

Но это полбеда, беда пришла, когда он научил почти всех островитян мужчин употреблять подобную пищу. Не съев на обед кусочка животного, мужчины сначала долго злились, потом слабели и не могли работать. Так что приходилось им бегать с ножом да луком за бедными беззащитными зверями. Да наступило время, когда охота стала не только необходимостью, но еще и развлечением, демонстрацией силы и

ЛОВКОСТИ.

Обиделись и испугались звери и перестали говорить с людьми и рассказывать им свои истории. Птицы оказались менее обидчивы, менее пугливы – они продолжали напевать песни, но так, чтобы те, кто их слушает, не понял о чем они.

Но самое главное, что незнакомец этот оказался чародем в изгнании. Король страны, в которой он родился и процветал, уличил его во вредительстве глупом, а потому беспощадном. То, что чародей развлекался по ночам мелкими пакостями, никого особо не волновало – просто немного жизнь отравляло. Скажем, пройдет кудесник мимо коня, крылья ему нарастит, сядет потом на скакуна хозяин, да в небо взлетает и вопит потом полночи на всю округу. Или завидит издалека юношу, спешащего на свидание с букетом цветов, возьмет, проведет рукой, и аромат у букета становится не только непривлекательной помесью бензина с тухлыми яйцами, но еще и ядовитой и лечат потом молодые животы, вместо того, чтобы миловаться. Или скажем однажды, когда особо делать нечего было, взял чародей и взбурлил воду во всех колодцах, стала она крепкой и горькой как напитки для разгона крови. Все бы ничего, но дети-то не привыкшие к ним. Одни плакали сутки – пить хотели, другие – хохотали как безумцы и спать не могли. Чародей порадовался да и прекратил издевательства, поэтому в тот раз за пакости его никто не успел наказать – все пьяны были, включая короля и младенцев.

Но однажды взял чародей и всех прекрасных девушек превращал в лягушек пятнистых. И пошел шорох по королевству. Юноши, решившие взять в жены не просто девушку, а именно прекрасную, должны были изловить на Черных Болотах лягушку, жениться на ней и поцеловать. Иногда после поцелуя пойманное земноводное сбрасывало свою пупырчатую шкурку и превращалось-таки в прекрасную девушку, но многим из юношей не так везло: в сети попадались обычные, незаколдованные, и им так и приходилось до старости быть женатыми на лягушках. Такой вот злобный чародей приехал на остров. Деваться-то ему больше некуда было – все окрестные и даже дальние королевства, прослышав о чудесничествах колдуна, отказались впускать его на свою территорию. Но наука изгнания не пошла чародею на пользу. Стал он еще более злобным.

Не сиделось ему спокойно, когда все на свете счастливы, обязательно нужно было какую-нибудь пакость затеять. Он и затеял. Долго думал и, наконец, придумал.

Сварил какое-то зелье, присыпал сахарком и стал поить всех деток островитянских своей отравой под видом компота. Зелье, впрочем, оказалось довольно вкусным, немного похожим на смесь кофе с лимонадом. Полюбился этот напиток малышам. Чародей на нем еще и денег заработал. Однако было у этого зелья совсем другое назначение: всякий кто выпивал его, больше никогда не мог заплакать. Казалось бы, что за ерунда – не можешь плакать, ну и не надо.

Но плакать человеку иногда не просто нужно, а даже необходимо, а детям – особенно: со слезами выходит горчинка, не дающая жить и радоваться. А когда хочешь заплакать и не можешь? Сглатываешь горький ком в горле, а он растет, еще сглатываешь – еще больше растет и превращается в бордовый гнойник...

И начали детишки на острове постоянно болеть ангиной. Мамы замучались им компрессы и полоскания мешать. Ангина за ангиной. И еще кое-что – на острове больше не шли дожди ни летом, ни осенью, не весной, и снега как водится тоже стало...

Это потому что дожди – детские слезы, впитанные землей, испаряющиеся в облака и снова падающие на землю. Нет слез – нет дождей. Только ангина. И вот тут-то у островитян и начались огромные проблемы. Если нет дождей, хлеб плохо растет, да и овощи с фруктами. Земля высыхает, а солнце набирает силу. Но не знали они о предназначении детских слез и потому ничего не могли поделать.

И так было на острове до тех пор, пока не собралось войско и не поймало колдуна. Заточили его в высокую каменную башню, отобрали все инструменты и ингредиенты к зельям, даже сушеных пауков и ящериц – и тех отобрали.

Там он и умер в скорости от тоски и невозможности пако-стить. И когда это случилось, проклятие чародейское рассеялось. И жизнь на острове пошла своим чередом. Дети плакали, дожди шли, ангины не повторялись. Даже птицы и звери

простили своих непутевых сожителей – людей и стали снова рассказывать свои истории и петь песни...

Сказка рассказана, слов во мне осталось разве что чаю предложить, а мальчик мой смотрит мне прямо в глаза и наконец я вижу в его глазах хоть какое-то чувство – удивление. До радости конечно далеко, но хоть так. Интересно, ему что, никто никогда в жизни сказок не рассказывал?

– Я сейчас приду, – говорю ему. – Хочешь чаю?

Ноль реакции. Снова этот отсутствующий взгляд сумасшедшего математика решающего теорему Ферма. Есть небольшое подозрение, что, если он не в шоке от чего-то, тогда у него, скорее всего диагноз, тот самый, с которым я вот уже пять лет беспробудно борюсь – аутизм. Психологу его нужно будет показать, настоящему, моих знаний хватает только на то, чтобы подозревать, что что-то не так. Зря я конечно в свое время не доучилась, но уж слишком велико было мое желание рисовать, не отвлекаясь на такие мелочи как медпсихология. И все равно занимаюсь психотерапией, хоть и арт, хоть и косвенно.

Мама сидит на кухне и задумчиво пытит своей R1.

– Дай и мене, – прошу. Удивляется, но протягивает мне пачку и зажигалку.

– Брат Толика не звонил? – спрашиваю.

– Рано еще, позвонит, не волнуйся.

– О чем задумалась, мам? – улыбаюсь. Уж очень редко моя мамуля впадает в подобные медитации, это больше мое

свойство.

– О найденыше твоём, – отвечает, выпуская кольцо дыма. – Даже если найдутся его родители, мало ли кем они окажутся. Ещё думаю – а не сбежал ли он случайно с интерната, он на улице Комарова находится. Не так далеко чтобы не добраться до парка аттракционов, но и не так близко, чтобы мальчика могли сразу найти. С другой стороны, интернатовские – более разговорчивые и не такие вялые. Мы несколько раз были там с Толиком – технику им завозили в качестве материальной помощи, игрушки, одежду, пообщались немного. Директриса там – огонь – из-под земли бы достала.

– Разберемся, мамуль, – улыбаюсь. – Твой бизнес там без тебя не загнется, случаем?

– Может и загнется, – пожимает она плечами, – новый закрутим.

И мы дружно хохочем, пока нас не прерывает телефонный звонок.

– Будет через час, – коротко сообщает мама. От веселья не осталось ни следа, она предельно собрана и серьезна.

– Детектив? – уточняю.

– Да, зовут Сергей. Будь готова к любому исходу, девочка моя.

– Ладно, – улыбаюсь. – Пойду тогда на всякий случай коньяка куплю.

Мамин смех я слышала, пока за мной не закрылись двери лифта.

Я действительно отправилась за коньяком. В мамином баре обитает только мартини всевозможных сортов и разновидностей, ничего кроме него мамуля на дух не переносит, а Сергей – мужик, не будет он это приторное зелье дегустировать.

Истошные полукрики-полувибри мальчишка я услышала еще с улицы. Взбегаю на третий этаж по лестнице на одном дыхании и врываюсь в квартиру. Мама держит бьющегося в истерике мальчугана, повторяющего сквозь всхлипы одно и то же:

– И-ра, И-ра... – в его личике явственно читается ужас.

Передаю маме пакет и сажусь рядом, обнимаю его, поглаживаю по спине:

– Я здесь, родной, чего ты испугался? Кушать будешь? Пить? Ну, что, что с тобой, милый... – О, господи...

Мальчик в моих объятиях затих, перестал вздрагивать, но на вопросы мои отвечать не стал. Я покачала его немного, как маленького – что еще с ним делать?.. – и потихоньку отвела на кухню.

Борщ он ел вяло, к бутерброду с мясом вообще не притронулся, а компота, напротив, выпил три чашки подряд и снова отрешился от сущего. Но руки моей так и не отпустил, ни пока ел, ни позже, когда я вела его обратно в кровать.

– Давай будем рисовать, – обращаюсь к нему. Глядит исподлобья. – Я буду рисовать тебя, а ты будешь рисовать... что захочешь, в общем, то и будешь, хорошо?

Молчит. Ладно, можем и помолчать. В конце концов настоящая дружба рождается в молчании – так я думала в детстве, так думаю и сейчас. Коробку с пастелью и альбомы приходится положить прямо на кровать. Мальчик задумчиво берет мелок тоненькими пальчиками, вертит его, сосредоточенно разглядывает альбом, который я открыла с чистой страницы. Осторожно проводит желтой пастелью по шероховатой поверхности листа. Потом пальцем. Снова мелком.

– Позвонил Сергей, сказал, что задерживается на час-полтора, совсем забыла тебе сказать, – заглянула мама в комнату и улыбнулась. Мы с мальчуганом сидели на кровати в позе лотоса, друг напротив друга с альбомами на коленях и пастелью в руке. – Испугалась за него, все из головы повылетало.

– Ничего, мамуль, подождем. Смотри, мы сейчас будем рисовать.

Мама кивнула и села в кресло напротив – самая выгодная наблюдательная позиция, между прочим.

Минут десять – пятнадцать мы шуршали пастелью. Я набросала портрет мальчугана и развернула к нему альбом:

– Кто это, ты знаешь?

Поднял взгляд и равнодушно по складам произнес:

– Ни-ки-та.

– Так тебя Никита зовут, – улыбнулась я. Не реагирует. Сосредоточенно выводит разорванные ломаные линии коричневым мелком.

– Что ты рисуешь?

Молчит. Рисунок его – настоящий квадрат Малевича, только кособокий, из неровных нитей – линий. Такой, какой он мог бы быть, если бы Казимир Северинович рисовал его в детстве или в пьяном состоянии, и пастелью, а не маслом.

– Это похоже на ящик или на большую темную коробку, – говорю. – Что в ней?

– Ни-ки-та, – так же равнодушно говорит мальчик.

– Никита сидит в коробке или на коробке?

Даже головы не подымает.

– А может быть в коробке сидит тигр, Никита его поймал и домой везет?

Молчит, рисует, или, если быть точной, сосредоточенно штрихует гипотетический квадрат.

– Не ти-гр, Ни-ки-та, – шепчет, глядя в альбом.

– Никита сам залез в коробку?

Рисует.

– А, может быть, Никиту кто-то в нее посадил?

Взгляд настороженный, исподлобья, губки приоткрываются. Хочет что-то сказать, но либо не умеет, либо не знает, как выразить. Беда с этим мальчуганом. Вроде бы говорить умеет, речь слышит и понимает, но говорить для него – все равно, что гирию пятидесятикилограммовую поднимать: тяжело и смысла нет.

Вроде бы закончил. Вертит альбом перед глазами, рассматривает рисунок. Думает о чем-то. Берет шариковую ручку и почти в самом центре ломаного квадрата проделывает

дыру, а потом еще и края этого отверстия разрывает.

– У-бе-жал, – говорит.

– Кто убежал? – спрашиваю.

– Ни-ки-та, – отвечает и просовывает палец в отверстие, которое только что сделал.

– Откуда убежал?

Молчит. Слова, называется, на вес золота – что хочешь, то и делай. Отбросил альбом и лег, облокотившись о подушку. Включаю ему Шрека по DVD, в надежде, что этот бессмысленный культовый мультфильм заинтересует мальчика. Не слишком заметно, конечно, но мой с мамой уход на кухню он воспринял равнодушно.

– Я скоро вернусь, милый, хорошо? – ответа я не услышала, но истерических криков тоже не последовало – и то хлеб.

Не прошло и получаса, Сергей позвонил в дверь. Мы с мамой только и успели, что выпить по чашечке кофе и задуматься о том, как мы дошли до жизни такой.

– Милые барышни, начну по порядку, – начал детектив, усаживаясь за стол, открывая бутылку коньяка, которую мы радушно предоставили в его полное распоряжение.

Мама решила обойтись в этот раз без мартини, а я пью так редко, что многие из моих знакомых до сих пор удивляются, увидев у меня в руках бокал вина. Выпив рюмочку, закусив лимоном и бутербродом, он продолжил: – Мальчика этого зовут Никита.

– Это мы уже выяснили, – бросили мы хором с мамулей и

засмеялись от неожиданности.

– Никита Маслов. Родился в нашем городе, восемь лет. Нигде не учился. Родитель у него один – отец, мать умерла при родах. Другие родственники – отсутствуют. Масловы оба детдомовские были.

Папашка – тот еще фрукт, месяц назад пошел по статье – попытка нападения на инкассацию. Он и два его товарища. Причем если бы они серьезно ограбление планировали, а то по пьянке стали на дороге, двухколейке, машина остановилась, попытались палками выбить стекла – бессмыслица какая-то. Водитель вызвал милицию и полетели птенчики в КПЗ как миленькие, а там с ними быстро разобрались. На свободу выйдут не раньше чем через четыре года и то, если будут себя хорошо вести. Но дело не в этом. С головой у этого Маслова что-то явно не в порядке, если бы убил кого, тут же экспертизу психиатрическую организовали бы, а так, по общему судили. Живут они в частном секторе. Соседи рассказывают, что запойный он. Пацана его, Никиту, практически никто никогда не видел. Баба Фрося, что напротив них живет, так та вообще утверждала, что мальчишка умер в младенчестве. Был я там сегодня. Детских вещей в доме нет, игрушек, книжек тоже, я, было, думал, что ошибся. Дом – это вообще страх божий. Крыша проломана, мебели нет, стол кособокий, две кровати и стул. Соседи рассказали, что не раз слышали женские визги, удары и мужские крики, вызывали милицию. Маслов всегда чистым выходил: мол, не я,

собутыльники, а метелки, вообще, сами виноваты. Но когда я спустился в подвал...

– Что? – выдохнули мы разом.

– Он там жил, – ответил Сергей.

– Никита? – спрашиваю.

– Никита. Одеяло на земляном полу валяется, свет от уличного фонаря, вонь жуткая. Многое говорит о том, что Маслов сына закрывал и забывал. Еду какую-то кидал как собаке и вся любовь.

– Ужас какой, – мама всплеснула руками.

– На крышке от подвала замок закрыт снаружи, но одна доска выломана. Царапал он ее чем-то, настойчиво царапал, железякой какой-то. Думаю, что когда отец пропал и перестал его кормить, Никита просто-напросто сбежал. Умница, что тут скажешь. Понять не могу, как мальчишке вообще удалось выжить при таком-то папаше... И еще – соседи. Как им что-то там вдруг в ночи покажется, так они сразу в отделение звонить, а мальчишку сколько лет отец терроризировал, так ни сном, ни духом. Вот такая история.

– Что теперь делать? – спрашиваю.

– В детский дом сдавать. – Безапелляционный ответ Сергея заставил меня вздрогнуть, а маму достать сигарету и закурить.

– Так не пойдет, – твердо сказала мама, сделав первую затяжку. – Мальчишка неблагополучен. Не учился, говорит плохо, общаться у него явно желания не возникает. В детдо-

ме его съедят. Нужно что-то решать.

– Я хочу забрать его с собой, – брякнула я и тут же поняла, что так оно и есть.

Наверное, надежды в моем голосе было несколько больше, чем нерешительности, потому что Сергей выпил еще одну рюмку и согласился:

– Для Никиты это было бы самым лучшим выходом. Но. Ты не замужем, усыновить тебе его не дадут. Для оформления опекуна нужно слишком много долгой и нудной бумажной волокиты.

– Это я беру на себя, – сказала мама, выпустив облако дыма.

– Давайте, девочки, что я вам могу присоветовать. Свидетельство о рождении его я не только нашел, но и с собой забрал. Это единственный ваш козырь. И еще деньги, конечно. Надеюсь, у вас получится. Все, мне пора. Телефон мой знаете, держите меня в курсе.

Сергей тяпнул еще одну рюмку на посошок, закусил бутербродом (и как у него цельный кусок хлеба в рот помещается за один присест, ума не приложу) и откланялся, не забыв достать из кожаного портфеля метрику Никиты. А мы задумались.

– Собирай-ка пацана, пошли по магазинам, проветримся, а потом сядем и будем решать, звонить, добиваться, угрожать утюгами и еловыми шишками, – сказала мама, затушив окурочок. Возражать я ей не стала.

Хотя в машине работает кондиционер и открыты окна, воздуха не хватает все равно. Душно. От сидений – и то пар идет. Насколько я успела заметить последние годы это вполне обычное явление в городе.

Никита всю дорогу ведет себя как мышка. С опаской рассматривает пейзажи за окном Опеля, держит меня за руку, а то и вовсе прижимается к моему плечу лбом. Боится.

– Никитка, – говорю, – мы едем в магазин, одежду купить тебе, игрушки... Какую бы ты игрушку хотел? Или книжку? А может быть, ты хочешь ролики или футбольный мяч? Ты скажи только что.

Ресницами хлопает. Не понимает.

– Тогда ладно. Будешь ходить, по сторонам смотреть, что захочешь, сразу говоришь или пальцем показываешь, хорошо?

Кивок. Аллилуйя, я этого добилась! Какая же я молодец!

– Никит, скажи, ты хотел бы уехать из города?

Удивлен. Задумался. Пожимает плечами.

– А со мной? Мне уезжать нужно через несколько дней. Меня ждет два десятка деток и некоторые из них младше тебя. Мы играем, рисуем, разговариваем. Сказки им рассказываю. Будешь все время с ними и со мной. Поедешь?

Ого. Столько лет терпел и на тебе. Капля за каплей по личику Никиты начинают струиться слезы. Их становится все больше и больше. Ручками меня обнял, развернул мое лицо к себе и плачет. Миленький мой. Глажу его по волосам, шеп-

чу какие-то глупости. Улыбаться еще не научился, но все к этому идет, я думаю. К его тихим всхлипам и моему шепоту через пару минут добавляется еще один звук – монотонный стук в лобовые стекла. Я не обращаю на него внимания.

– Дождь, – восхищенно протягивает мама, не отрывая внимания от дороги. – Господи, лет пять дождя нормального не было и на тебе! И радуга, смотрите!

Мама паркуется на обочине и мы втроем выходим под теплый летний ливень, чтобы посмотреть радугу, огромную, ясную, на все июльское небо.

Иногда достаточно слез одного единственного ребенка, чтобы растопить каменное сердце Солнца.

Иногда мы остаемся

Там было людно и накурено, в том ресторане с дурацким названием «Консенсус». Развеселые подвыпившие компании разливали хохот и смрад по небольшому, столиков в десять, помещению. А он играл Гершвина на стареньком фортепиано. Вытянувшись по струнке, словно старался быть как можно выше и дальше от всего этого. Его искореженные артритом пальцы летали над клавишами – желтые бабочки над бело-черным полем.

Я вошел в дымный зал с первыми аккордами «Summer time». Шел на звуки, пробираясь сквозь туман к невысокой сцене. Я спешил посмотреть на человека, который выжимает из потрепанного инструмента божественные, неземные, волшебные звуки.

Старик тапер в черном фраке, выглядел как-то неестественно среди люда, наводнившего ресторан. Или скорее наоборот, это мы все казались здесь лишними.

Все столики были заняты. Но я уже и думать не хотел ни о какой еде и тем более выпивке. Жестом показал сонному официанту принести кофе и сел прямо на широкую ступеньку, отделявшую пол и сцену.

Сел лицом к таперу и полуоборотом к залу. Вполне достаточно, чтобы видеть его греческий, почти сократовский, морщинистый профиль и черное родимое пятно в форме по-

лумесяца на левой руке и не видеть того, что происходит в зале.

Впрочем, не было необходимости отворачиваться от реальности, меня итак в ней не было. Звуки и я. Я и звуки. А позже, вообще никакого «я» – только мелодия и «нечто» развешенное осколками по Раю... Я ни секунды не пожалел бы об утраченной в тот момент целостности – еще бы и спасибо сказал. Провести вечность, растворившись в звуках – это почти что бессмертие.

Когда я открыл глаза и оглянулся, зал бесповоротно опустел. Остывший кофе стоял рядом со мной на ступеньке и отражал свет бледной красной лампы, единственной, оставшейся гореть. Музыка звучала гораздо тише прежнего. Возможно, именно это и вернуло меня с небес на землю. Оказалось, что мелодию, которую я в тот момент все еще слышал, играл не тапер, а Некто внутри меня. «Послевкусие рая...», – помню, подумал я в тот момент. Сам же музыкант за фортепиано явно спал – руки его безвольно свисали вниз, а голова покоилась на клавишах, затылком ко мне.

На входе в зал возникла грузная уборщица с ведром в одной руке и шваброй в другой. Она молчала, угрожающе, я без слов понял, что мне предлагают выметаться. На входе в ресторан висела, конечно, табличка «работаем до последнего посетителя», но женщина с метлой всем своим видом показывала, что пора бы уже и честь знать.

Однако не смотря на яростные взгляды уборщицы, я ре-

шил что имею право задержаться еще на минуту и отблагодарить тапера. Достал из кармана сто долларов (в тот вечер я был почти богат), но так и застыл, не донеся деньги до кармана его пиджака. Теперь, когда я навис над стариком и мне стало видно его лицо, я заметил, что глаза его широко распахнуты и закатаны к потолку, а рот приоткрыт.

Страх – сильнейший из инстинктов. Я соскочил со сцены, уложившись в пол прыжка, и вынул мобильный. Уборщица непонимающе хлопала белесыми ресницами, но я не стал ей ничего объяснять. Набрал знакомый с детства номер скорой, проорал адрес и просил поторопиться. У меня еще оставалась надежда, что тапер жив. Через полчаса, провожая носилки с наглухо закрытым простыней телом, до меня дошло что все – теперь уже точно.

Я бежал по улице, стараясь не останавливаться, не думать и не оглядываться. Хотел забыться, но мысли одна за другой появлялись и исчезали, не требуя впрочем, от меня осмысления.

Я думал: «Это что же получается, тапер играл до самого последнего своего вздоха только для меня?»... Думал: «Как же так, я мог бы сразу прийти в сознание, как только музыка перестала звучать, и тогда его еще можно было бы спасти»... Думал: «Я даже имени его не знаю».

Последнее что помню, как кричал: «Спасибо», в надежде, что тапер, там, на небесах, меня услышит. Мне было важно, чтобы он услышал, и я старался изо всех сил докричаться до

него сквозь шум грозы, разразившейся на предрассветном небе.

Год я обходил «Консенсус» десятой дорогой. Не хотел, чтобы воспоминания о той ночи вернулись. Я хотел помнить только его профиль и Гершвина, льющегося из-под его обезображенных артритом пальцев. Но воспоминания болью отзываются где-то в уголке сердца, маленьком, но значительном, и я старался, как можно дольше их отгонять.

Но сегодня годовщина его смерти. Я не могу не вернуться в тот ресторан. Больше того, я не иду – спешу со всех ног. Сам не знаю почему. Что я надеюсь там найти? Наверное, мне просто хочется отдать сиюминутную дань его мастерству, его жизни. Какой она была – неведомо, но мне почему-то кажется, что хорошей.

Сегодня старенькое фортепиано играет не старый добрый американский джаз, а «Memory» из мюзикла «Cats».

Молоденький музыкант-еврей тщательно перебирает клавиши и старательно соблюдает все правила воспроизведения классических текстов. Играет головой, а не сердцем. Скучно и грустно. Но я останусь здесь до рассвета. Как и тогда.

После ужина, второй чашки кофе и первой рюмки коньяка, заказываю еще две стопки последнего. Одну ставлю напротив себя, накрывая хлебом по христианскому обычаю, другую – осушаю одним глотком. Закрываю глаза, стараясь вспомнить тапера, чья смерть меня так потрясла год назад. Неужели всего год?.. Да уж...

Я сижу за столиком у самого выхода и, наверное, хорошо. Молодой пианист играет так, что если слушать сквозь суету и гвалт гуляющего люда, выдержать можно, главное, близко не приближаться. Не открываю глаз, прошу память вернуть меня в самое начало того вечера. Как я присел на ступеньки, как слушал, а главное слышал.

Отчетливо вижу сосредоточенный вдохновенный профиль и пальцы, парящие над инструментом. Явственно слышатся звуки «Summer time». Те самые, годичной давности. Я хотел их вспомнить и услышать вновь – сбылось таки. Спасибо тебе, Боже...

– Рассчитайтесь, пожалуйста, – прогундосил официант. И зачем он появился? Мне было так хорошо, в том дне, в той мелодии...

– Да, пожалуйста, – вздыхаю, протягивая ему указанную в счете сумму и еще немного сверху.

Зал пуст, я снова домечтался до самого закрытия. А Гершвин все еще звучит. Его играет молоденький музыкант за фортепиано. Играет, видимо, для собственного удовольствия: его глаза закрыты, поза выражает расслабленность и негу, только мне кажется, что играет он по-другому. Не так, по-школьняцки правильно и бездушно, как пару часов назад, а так, как играл старый тапер год назад. Так же и ту же мелодию.

Всего на секунду вижу два профиля, вместо одного – старый и молодой, еврейский и греческий... И две пары рук: бе-

лые, выхолненные и желтые, изуродованные с черным полумесяцем – родинкой на сморщенной коже. Старик тапер разворачивается ко мне, не отрывая рук от клавишей, и его морщинистое лицо освещает улыбка, счастливая и немного хитрая...

Где-нибудь, когда-нибудь

Карл вошел в город – у тетушки Греты, чей дом на углу Вишневой и Осенней улиц, расцвели фиалки. Все эти годы как бы она за ними не ухаживала, со сколькими флористами не советовалась, все одно – нежно-сиреневые с белым цветы выглядели как засохшая желтая роза. А ведь он говорил ей когда-то: цветы не любят грусти (сухоцветы не в счет), разве что гвоздики. Но как можно не грустить, когда он ушел и некому перед сном рассказывать истории? Хотя...

Грета подозревала, что именно для того, чтобы она научилась не грустить, даже (особенно!) если повод есть, Карл и оставил ее здесь одну на долгие годы. Мол, чтобы впредь неповадно было. И грусть в душе Греты сменялась возмущением.

Но сейчас-то... невозможно дуться, если знаешь, что Карл вот-вот улыбнется с порога и небрежно бросит:

– Кофе не остыл еще, думаю.

Он не шутит. Время не грозит Карлу костлявой кистью. Он не молодеет и не старится. Да и свою бархатную шапочку с кисточкой, раньше такие называли «фески», никогда не снимает; меняет только старомодный пиджак на тяжелый выцветший вишневый халат.

Грета совсем недавно поняла его секрет, а, может, просто думала, что поняла: если выглядишь и улыбаешься изо дня

в день одинаково, время перестает тебя замечать. Перестает вслушиваться в твои сказки – ясно ведь, что все все-равно закончится и закончится хорошо – куда интересней за вечностью погоняться, чем считать, сколько зим этот сказочник Карл радуется первому снегу.

Карл улыбается и поправляет – я не сочиняю сказок, я передаю истории, я – историк! А ты, Грета, лучше всех на свете рисуешь на облаках сливок ветер. Да и кофе твой под стать – темнее февральской ночи и пахнет как в гареме у шейха. Шутник.

Грета снова поймала себя на мысли и вздохнула. А ведь Карл учил ее, что думать нужно только в случае крайней необходимости. А куда подевались очки это не повод предаваться сему занятию, это лишняя трата сил.

– Вот скажем, вчера, – улыбался Карл, – ты все удивлялась, откуда над рекой за ночь появился хрустальный мост, а над ним покрыва из живых цветов. Просто ты захотела, чтобы он был, но не подумала об этом. Вот он и появился. А если бы подумала, все – никакого моста, никаких цветов.

– Ужас, – Грета вспомнила, как тогда удивилась, и поскорее, пока не начался дождь, поспешила выгулять любимую чашку Карла.

Дождь чашка не очень любила, хотя сам Карл считал, что дождевые капли в кофе, это философский камень, священный Грааль и бог знает что еще. Вот и приходилось подчиняться этому пестрому кусочку глины, заделывать ласковы-

ми словами маленькие трещинки, что образовались от времени, и не ставить на мокрую траву.

Карл повторял, что все в этом мире зависит от этой чашки и кофе, который он выпьет из нее на рассвете. Если в кофе есть корица и утренний туман, тени случайных прохожих и синева облаков, то все будет путем, а если кофе скучный, просто с сахаром и сливками, тогда пиши-пропало. Мир начнет трескаться по швам просто потому, что Грета не выгуляла эту самую чашку и не сварила особенный кофе.

Карл говорил, что он – очень важный человек. Потому что любой мир зиждется на историях. В одном даже есть священная книга, которая начинается так: «вначале было слово». Что истории как подкладка, как множество подкладок, а люди, которые слушают или читают, – не позволяют отдельным нитям отделяться от основной ткани бытия....

Мир, в котором никто не рассказывает историй, похож на ветхое одеяло: вроде бы есть, но уже не совсем на себя похоже и никого не может согреть. А этот мир за окном он только зарождается, ему истории нужны как младенцу молоко мамы. Поэтому не дело Историка сидеть на одном месте, даже если здесь живет Грета.

– Вот ты знаешь, для чего люди путешествуют? – спросил Карл, смешивая вопросы с приготовлением кофе. Так оно крепче получалось.

Грета не знала, но пыталась догадаться:

– Для того чтобы собирать истории и рассказывать их?

Для того чтобы больше знать о мире в котором живут? А может для того и другого...

– Не только. Не все так просто, – качал головой Карл. – Путешествовать – все равно что залатывать прорехи в реальности. Вот ты знаешь что такое «пингвин»?

– Нет, – Грета пожала плечами. Слово «пин-гвин» на вкус было похоже на кислое молоко.

– И никто в нашем мире не знает, поэтому их здесь и нет, – усмехнулся Карл. А вот, скажем, Большой рынок есть. Но это в масштабах нашего города. А в масштабах всего мира... Ты ведь никогда не была в соседнем городе, он называется Туйян? Нет... Значит для тебя его вроде бы нет, правильно?

– Да, – неуверенно вторила Грета.

– А вот теперь представь, что в нем никто из наших горожан не был. Для них его тоже, следовательно, не будет существовать, и не далек тот день, когда Туйян может стать частью совсем другого мира, раз о нем никто не знает и не помнит. Это закон человеческого внимания. Пока Нечто есть во внимании, оно существует, а если человек долго не вспоминает о нем – все, нету Нечта, кануло в небытие. А если множество людей сразу забывают или в упор не замечают? А еще столько же при этом выдумывают новые Нечта для собственного развлечения? То-то же. Именно для этого мне, кстати, и нужно время от времени надевать плащ-видимку (никто кроме тебя меня не видит, не только в нашем городе), чтобы обо мне помнили. И для этого нужны путешествия: чтобы

узнавать мир, связывать знания о нем со знаниями других людей, при помощи историй или фотографий, или же просто уверенности, что соседний город точно есть в мире, и тот, что недалеко от него и тот, что дальше...

Грете сложно было все это понять, но она привыкла считать, что Карлу виднее, а ей с ванильными булочками дай бог справиться.

Карл подобрал Грету ребенком. Вырастил. Можно сказать, взрастил своими историями. Она пыталась их записывать одно время, но всегда что-нибудь происходило. Не любят слова быть припечатанными к листу бумаги. Так они теряют свое ровно-душие и независимость, – решила Грета, – и перестала пытаться.

И действительно. Слова вокруг нее стали порхать как бабочки, лишь изредка радуя ее своим присутствием. И сейчас они не в тягость, а в удовольствие.

Дорога от железнодорожных путей до крыльца Греты занимает около получаса. Отлично, – решила она, – я успею еще словить абрикосовый сквозняк, пусть дом пропитается ароматом цветущих деревьев и будущих фруктов. Этот маленький шалун прилетает из сада, что через два квартала.

А пока суть да дело, Грета подперев ладонями подбородок, смотрела в окно на прохожих. Когда она была маленькая, все, кроме Карла, казались ей громкими и суетливыми. Сейчас она начала подозревать, что сама стала такой же, а тихий, легкий шаг Историка, не оставляющий следов на пес-

ке, и голос, больше похожий на шум в ракушке – это бесценный дар.

Просто у Карла есть крылья, – думала Грета и сейчас думает также.

– Я расскажу тебе историю, – доносится до ее ушей мягкий, певучий голос. Без «здрасьте», без «как дела». В этом весь Карл. – Был я в одном городе. Чудесный городок. Черепичные крыши, стеклянные двери, палисадники и сады. И много, уму ни постижимо сколько, цветов. А вот людей совсем мало. Сначала я подумал, это потому, что жители очень любят цветы. Потом оказалось, что цветы не любят людей, они – жители и есть, а люди... нечто вроде слуг.

– Здравствуй Карл, – умиляется Грета. И видит, как медленно, но верно расцветают ее фиалки.

– Ты не изменилась, – Карл смотрит в окно, но видит то, что не подвластно зрению.

– Прошли годы, – вздыхает Грета. – Твоя чашка не изменилась, ты не изменился, а я постарела.

– Какие глупости, – Карл наконец повернулся и взглянул Грете в глаза.

– Слышишь шорох?

Грета прислушалась, за окном действительно что-то шуршало, трещало, гудело. Еле слышно, но все же.

– Это шаги времени, Грета. Вокруг, дом они не задевают. И если выходить на улицу через крышу, а палисадник пересекать влет, то время тебя не достанет.

– Правда твоя Карл, только я не умею летать, – мягко возражает Грета.

А про себя думает, что может быть ошибается. Рядом с Историком невозможно быть в чем-то уверенной на сто процентов, особенно в чем-то эдаком. В чем «эдаком» Грета так и не сформулировала, но ей почему-то стало гораздо легче в ногах и невесомей в ладонях. Того и гляди взлетит. А ведь секунду назад была уверена, что не сможет. Вот что значит – присутствие Карла.

Грета сдалась:

– Ладно, давай пить кофе.

– Но только на крыше, – ухмыляется Карл. – А потом я покажу тебе, откуда ведут мои следы к твоему дому.

Грета обрадовалась. Никогда еще ей не делали таких заманчивых предложений.

– Только возьми мой плащ-видимку, мне сегодня совершенно необходимо, чтобы меня имели во внимании и принимали на вид, – говорит Карл уже с верхней ступени лестницы, ведущей на чердак. В одной его руке поднос с кофейником, молочником, сахарницей, и розовой чашкой от сервиза, а в другой – его любимая чашка.

Ну да, – припомнила Грета, – этому подносу, созданному каким-то случайным сновидцем, Карл никогда не доверял. По крайней мере – свою единственную любимую чашку.

– А еще я был в странном месте, где живут полулюди-полупризраки, – говорил Карл, и лестница под его легкими ша-

гами еле слышно вздыхала, – самое страшное время для них наступает, когда им приходит время родиться, представляешь?

Грета глупо хихикнула. Надо же – родиться! Ужас какой!

Потом подумала – действительно ужас, люди бояться смерти, полулюди-полупризраки – рождения, а по сути все бояться того, в чем не разбираются. А как только поймут, что это одно и то же, так сидят на облаках, нежно обнимая золотые арфы, недоверчиво щупая новорожденные крылья, и плачут от умиления.

– Так и есть, – рассмеялся Карл ее мыслям. – Тебе нужно книжки писать.

Редко встретишь человека, который мыслит как по написанному. В основном люди мыслят не додумывая предложения и не договаривая слова до конца, и, уж точно, без знаков препинания.

Карл толкнул коленом массивную старинную дверь, ведущую на пологую крышу, чуть покачался на скользком шифере и присел на скамеечку, которую соорудил почти возле самого флюгера специально для себя и Греты, давно. А Грете все казалось недавно.

– Рассказывай, – шепотом попросила она, когда места на сцене, одновременно являющейся и зрительным залом, были заняты. А вместо занавеса искрилось необычайно звездное небо. Будто звезд стало в два раза больше, чем было вчера ночью. Грета их не то чтобы считала, но запоминать звезд-

ный рисунок каждую ночь, а потом рисовать карту, чтобы побороть бессонницу – было больше чем ее хобби – она сама бы сказала, что нет дела важнее, ведь звезды они живые и то и дело перескакивают с места на место. И как потом гороскопы составлять, без карты-то? То-то же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.